

УДК 008:821.161.1.09

**Е.Г. Серебрякова**

## **НОРМАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ «ШЕСТИДЕСЯТНИКА»**

*Автор исследует представления «шестидесятников» о норме поведения в социальной и повседневной практике. Объектом исследования являются дневники Е. Шварца, А. Твардовского и воспоминания Р. Орловой, Л. Копелева, Л. Чуковской, Ю. Орлова. Автор утверждает, что нормативное поведение «шестидесятника» базировалось на гуманистических нравственных принципах. Молодое поколение либеральной советской интеллигенции акцентирует идеи гражданской ответственности и социальной активности.*

*Ключевые слова: шестидесятники, либеральная советская интеллигенция, нормативная модель поведения.*

Смена культурной парадигмы с социалистической модели на капиталистическую, интенсифицировавшую формирование общества потребления, порождает в современном гуманитарном сознании острую потребность осмыслить специфику национальной идентичности, отыскать универсалии российской культуры, лежащие в основании отечественной системы ценностей. В этой связи особую актуальность приобретает опыт другого «рубежного» поколения – «шестидесятников», решавших в иных исторических и социальных обстоятельствах схожие проблемы: поиск самоидентификации, определение адекватных жизненных стратегий в условиях социокультурного обновления. Сформировавшийся в 1990-е гг. исторический подход к феномену «шестидесятничества» как к «движению протеста в СССР» (Л. Алексеева, А. Даниэль, А. Безбородов) видится сегодня справедливым, но явно недостаточным для оценки мировоззренческих оснований поколения, реализованных в поведенческих практиках. Вместе с тем богатое литературно-публицистическое наследие, включающее значительный корпус автобиографических текстов – дневников, воспоминаний, записок, даёт основание культурологам для новых оценок аксиологии «шестидесятничества», реализованной в персональных поведенческих практиках. Новизна данного исследования заключается в попытке выявить типологически общие модели поведения «шестидесятников», отражающие единство аксиологии, зафиксированные в системе ценностей поколения в качестве нормативных образцов. Это позволит уточнить специфику «культурного кода» российской интеллигенции, всякий раз с наибольшей очевидностью проявляющуюся в ситуациях социокультурного изменения.

Объектом исследования выбраны воспоминания и дневники «старших» (Е. Шварц, Л. Чуковская, А. Твардовский) и «младших» (Р. Орлова, Л. Копелев, Ю. Орлов) «шестидесятников», что позволит не только выявить общие мировоззренческие основания, породившие единую «норму» повседневного-бытового и социального поведения, но и обнаружить различия поведенческих стратегий внутри одного поколения. Понятие поведенческой «нормы» включает наличие как устойчивых, так и вариативных признаков,

что определяет границы нормативности. Выявление допустимых и неприемлемых с этической точки зрения практик, обнаружение базовой основы нормативности входит в задачу данной работы.

Реконструкция аксиологии поколения по автобиографическим текстам литераторов неслучайна. Выразителем новых умонастроений на рубеже 1950–1960-х гг. оказалась художественная культура, более мобильно откликнувшаяся на основные тенденции времени. «Оттепель» начиналась с активизации антидогматических сил в литературной критике, прозе и поэзии, выплёскивалась на страницы литературно-художественных журналов, проявлялась в размежевании творческих работников на лагерь «ортодоксов» и «либералов». Закономерно поэтому, что именно творческая и художественная интеллигенция тех лет, составившая основу поколения «шестидесятников», давала общественности нормативную модель поведения.

Жанровые различия текстов – автобиографии, воспоминания, дневники, записки – непринципиальны при анализе аксиологии. Кроме того, документальные по своей основе жанры взаимодополняемы, органичны друг другу. Это свойство зачастую использовалось авторами. Воспоминания Раисы Орловой и Льва Копелева «Мы жили в Москве: 1956–1980» снабжены значительными выдержками из дневников обоих рассказчиков. Дневники Евгения Шварца, Александра Твардовского содержат значительные фрагменты воспоминаний. Автобиографический «очерк литературных нравов» Лидии Чуковской «Процесс исключения» включает в себя отрывки из переписки автора с современниками. Отдельную часть книг Шварца, Орловой и Копелева составляют литературные портреты – персонализированные «образцовые биографии».

Картина мира писателей, вне зависимости от возраста и самоидентификации по отношению к официальной культуре, антропоцентрична. Человек в ней занимает центральное место: он высшая ценность и цель социальных преобразований. Базовым свойством, роднящим тексты, является антропоцентризм, нравственно-этическое восприятие социальных явлений. В нравственной памяти «шестидесятников» кровоточат одни и те же болевые точки – репрессии 30-х гг., Отечественная война, конец 40-х. Поразительную на первый взгляд, но весьма характерную для мировосприятия всего поколения фразу произнёс однажды режиссёр Алексей Герман, родившийся в 1938 г.: «У меня полное ощущение, что я был в заключении и погиб на войне» [1. Ч. 4].

Этическое неприятие вызывает не социальная модель государства, а антигуманное отношение к человеку, казённо-бюрократические порядки, официальная ложь, пронизавшая все сферы общественной жизни, и незаконное, ставшее в годы сталинизма нормой. Владимир Лакшин писал об этом так: «Нам <...> не нравился казённо-бюрократический социализм, мы защищали человеческую правду против формальной, мы приходили в содрогание от ужасов сталинского лагеря и протестовали, где могли, против изошрённых форм общественного лицемерия. Но мы верили в социализм, как в благородную идею справедливости, в социализм с человеческим нутром, а не лицом только. Для нас неоспоримы были демократические права личности. Мы искали опору своему чувству и убеждению в народе – и, боясь истаскан-

ности и фальшивой декламационности этого понятия, всегда дорожили чувством общего с трудовыми людьми» [2. С. 171].

Основу сюжета книги «Мы жили в Москве» составляет повествование о постепенном преодолении литераторами иллюзий «шестидесятничества»: веры «в здоровую социалистическую природу общества» [3. С. 24], убеждённости, «что перемены к лучшему возможны только посредством реформ сверху» [3. С. 30]. «...Главным злом, – признаются авторы, – мы считали чиновников, аппаратчиков во всех инстанциях, и в Союзе писателей, и в ЦК. И надеялись, что Никита их свергнет» [3. С. 29]. А главное: «Мы верили, что мир, в котором мы живём, преобразуется. <...>...В конечном счёте прогресс неотвратим» [3. С. 71], «...предстоит ещё много трудного, но успехи нам казались необратимыми» [3. С. 84].

Восприятие Шварцем начавшейся «оттепели» лишено эйфории. О своём впечатлении от доклада Хрущёва XX съезду, услышанного на собрании в Доме писателей, говорит сдержанно: «Вечером, как в дни больших событий, я чувствую себя так, будто в душе что-то переделано и сильно пахнет краской. Среди множества мыслей есть подобие порядка, а не душевного смятения, как привык я за последние годы в подобных случаях» [4. С. 272]. Его отношение к сталинизму категорично и созвучно настроению либеральной части общества: «Все прошедшие годы прожиты под скалой "Пронеси господи". Обрушивалась она и давила и правых, и виноватых, и ничем ты помочь не мог ни себе, ни близким. Пострадавшие считались словно зачумлёнными. Сколько погибших друзей, сколько изуродованных душ, изуверских или идиотских мировоззрений, вывихнутых глаз, забитых грязью и кровью ушей. Собачья старость одних, неестественная молодость других: им кажется, что они вот-вот выберутся из-под скалы и начнут работать. <...> Изменилось ли положение? Рад бы поверить, что так. Но тень так долго лежала на твоей жизни, столько общих собраний с человеческими жертвами пережито, что трудно верить в будущее. Во всяком случае, я вряд ли дотяну до новых и счастливых времён. Молодые – возможно...» [4. С. 394]. Как видим, Шварц осторожен в надеждах на общественное обновление.

Позицию литераторов роднит ясное понимание нормы личностного поведения в повседневной практике: совесть не допускает бездействия. Шварц записал в дневнике красноречивую фразу: «...человек, ужаснувшийся злу и начавший с ним драться, как безумец, всегда прав» [4. С. 286]. Этим принципом руководствовались в социальной и профессиональной деятельности все «шестидесятники».

Трагические страницы отечественной истории не должны повториться – этот этический позыв лежал в основании социального поведения «шестидесятников» и предопределил переход многих из них к оппозиционности режиму. Центральным мотивом книги «Мы жили в Москве» является органичность и одновременно незаметность вхождения героев в протестное движение: «...ходатайствуя за отмену приговора Иосифу Бродскому в 1964–1965 годах, мы не подозревали, что вступаем на новый путь» [3. С. 73]; «Мы потом много раз спрашивали себя: когда именно началось наше отдаление <...> от партии, в которой мы всё ещё состояли? <...> Нам были отвратительны негодяи, захватившие руководство в Союзе писателей. Наше сочувствие вызывали те, кого прорабатывали, кого травили» [3. С. 85–86].

Нравственное чувство должно реализовываться в общественно значимом поступке. Совесть – категория, определяющая как повседневно-бытовую, так и профессиональную и социальную практику. На этих принципах морали строят свою модель поведения «шестидесятники». Об этом размышляет в дневниках Александр Твардовский. Противостоять бездушным чиновникам, разноликим «комиссарам собственной безопасности» (определение, данное Константину Федину) в борьбе за каждое слово правды и всякую человеческую судьбу не подвиг, а ежедневная кропотливая работа: «Нечего больше делать, как только отламывать по кирпичику, выламывать, выкрошивать эту стену» [5. Т. 1. С. 231]. Именно так проверяется личностная и гражданская мера человека. Орлова и Копелев активно участвовали в подписных кампаниях, поддерживали правозащитников. Копелев рассказывает: «Мы оба не говорили и не писали ничего такого, чего не думали. Мы оба дружили с семьёй Сахаровых и старались помогать преследуемым, заключённым, их семьям. Но я говорил и писал открыто, а она (Орлова. – Е.С.) действовала без огласки, неприметно; перепечатывала, распространяла и отправляла на Запад рукописи, собирала вещи и лекарства и передавала их семьям заключённых, сосланных» [3. С. 213]. Тем же стремлением защитить честного человека от преследования властей объяснял свой приход в движение правозащитников Юрий Орлов, один из основателей Московской Хельсинской группы («Опасные мысли», 1990 г.): «В сентябре 1973 года началась бешеная травля Сахарова <...>. Моральная стоимость академических кампаний против Сахарова была нуль без палочки, как говаривала моя мать. Приличные академики не участвовали в них. Одни, как Будкер, исчезали на время, немногочисленные герои, вроде Капицы и Сагдеева, отказывались напрямик.

Сахарова, с которым я был знаком теперь хорошо, надо было поддержать немедленно. К концу недели я закончил с этой целью «Тринадцать вопросов Брежневу». Гэбисты положили в свои сейфы первые вещественные доказательства моего будущего уголовного дела» [6. С. 154–155]. Как видим, вновь нравственный позыв наполнился общественным содержанием и перерос в политическую акцию. Отождествление этических мотивов поступков и гражданской позиции современника составляет основу поведенческой «нормы» «шестидесятника».

Нормативная модель поведения жизнеспособна до тех пор, пока она поддерживается значительной частью сообщества.

Профессиональные сообщества тех лет имели плотную внутреннюю коммуникацию. Литераторы входили в один творческий союз, проживали в «писательских» домах и дачных посёлках, зачастую вместе проводили свободное время. В едином жизненном пространстве модель товарищеского поведения распространялась как на повседневно-бытовую, так и на профессиональную сферу. Поддержка коллеги, попавшего под идеологический прессинг власти, воспринималась либеральной интеллигенцией как нравственный долг. Шварц в дневниках с особенной тщательностью фиксирует примеры мужества людей, защищавших в сталинские годы друзей и знакомых: вот Д.Д. Шостакович добивается у прокурора СССР пересмотра дела невинно осуждённого театрального критика Г.А. Авлова, чрезвычайно неприятного для него человека, а писатель М.Э. Козаков спасает своими пока-

занятиями на суде Л. Пантелеева. Сам Шварц посла ареста Н. Заболоцкого несколько лет опекал его жену и детей. За три месяца до смерти, подводя итог жизни, он с полным правом смог признать: «Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду» [4. С. 482]. Защита и поддержка репрессированных истолкованы в дневнике не как проявление гражданской позиции (точка зрения Орловой и Копелева), а как органичные человеческой сущности свойства. Истоки этой мировоззренческой позиции угадываются в поведенческой практике европейского и русского интеллигента, сложившейся в культуре начиная с Нового времени. Вольтер, защищавший от католического преследования протестантов, заложил основу традиции опеки и личного вмешательства в судьбу угнетённого.

По мере усиления конфронтации либеральной интеллигенции и власти поведенческие практики обеих сторон становились всё более демонстративными. В 1957 г., во время исключения Б. Пастернака из ССП, некоторые литераторы в знак протеста не входили в зал голосования. В 1960-е гг., в ходе судебных процессов над литераторами (И. Бродским, А. Синявским и Ю. Даниэлем, А. Гинзбургом и др.) такие действия выглядели полумерами, их было явно недостаточно. Репрессии требовали активной защиты не личностей, а самого права на свободомыслие. Так формировалась «культура поступка» (А. Даниэль), выражавшая самосознание поколения.

«Шестидесятники» были убеждены в необходимости легальной деятельности. Потому, например, письма протеста/защиты подписывались ими с обязательным указанием должности, фамилии, имени, отчества и зачастую – домашнего адреса. Письмо XXIII съезду партии с просьбой не подвергать суду Синявского и Даниэля, а передать их на поруки писательской организации подписали 62 литератора, маститых и начинающих. Демонстративность свидетельствовала об убеждённости «подписантов» в своей нравственной правоте: «Дело писателей не преследовать, а вступаться, – эти слова из письма Чехова Суворину приводила в письме М. Шолохову, потребовавшему на съезде сурового приговора «оборотням», Л. Чуковская. И добавляла: – Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, будто приговор суда был недостаточно суров» [7. Т. 2. С. 151]. Апелляция Чуковской к традициям русской литературы – убедительное доказательство духовной преемственности, ощущаемой неконформистами. «Слава предков» обязывала быть достойными их в духовном сопротивлении любой политической лжи и несправедливости. Дело, наполненное нравственным содержанием, не может быть анонимным. Однако легальность требовала от «подписантов» мужества. Чем демонстративнее акция, тем выше моральная ответственность за неё. Отозвать свою подпись или публично отречься от первоначальных заявлений недопустимо. Это означало бы не только продемонстрировать трусость, утратить уважение, но и расписаться в личностной и гражданской незрелости. Социально-нравственный инфантилизм – качество, безусловно осуждаемое современниками. Человек, дискредитировавший себя в глазах либеральной общественности, становился «нерукопожатным»: с ним не здоровались и расторгали отношения. Твардовский по поводу одного из таких писем протеста записал в дневнике: «...по этому признаку (подписал или не подписал письмо. – Е.С.) люди разговаривают или не разгова-

ривают или даже не здороваются» [5. Т. 2. С. 228]. Орлова и Копелев зафиксировали аналогичную реакцию Анны Ахматовой на известие о причастности коллеги к «делу Синявского и Даниэля»: «Я только сейчас узнала, что академик Виноградов участвовал в этой подлости, был председателем экспертной комиссии. А ведь он настоящий учёный, мы пятьдесят лет знакомы, даже дружны. Он интересно писал о моих стихах. Но теперь нельзя подавать ему руки» [3. С. 291]. Категоричность нравственной позиции усугублялась её публичностью. Демонстративность укрепляла нормативность поведения: «потерять лицо» в глазах коллег совершенно недопустимо. Так однажды выбранная позиция диктовала соответствующий тип дальнейших действий. А значит, постепенный «дрейф» в сторону оппозиционности становился неизбежным: начав с поступков, продиктованных чувством солидарности, желанием защитить друзей или знакомых от несправедных гонений, человек приходил к участию во всё более решительных акциях, всё более втягивался в идеологическую борьбу, политическое противостояние.

Социальное оздоровление страны не произойдёт само собой, убеждены «шестидесятники». Для этого необходимы совместные усилия нравственно здоровой части общества, прежде всего интеллигенции. Гиперболизация роли интеллигенции в жизни страны была свойственна либеральной общественности. Орлова и Копелев воспринимают политические события как подтверждение идей, высказанных деятелями искусства, в частности литераторами: «Значит, возможно оздоровление партии, общества. Значит, всё, что происходило раньше в литературе, значит, статьи Померанцева, Абрамова, Щеглова, поэма Твардовского – всё приобретало новый смысл. Партийный съезд (речь идёт о XX съезде. – Е.С.) подтвердил правоту тех, кто требовал искренности, честности, правды» [3. С. 24]. Литература, не сомневаются писатели, способна раскрепостить души, освободить сознание, указать обществу пути и способы обновления социальной жизни. Это накладывает на художников слова, критиков, литературоведов особые обязательства: от их гражданской и нравственной позиции зависит будущее страны.

Уверенные в действенности просветительской позиции, «шестидесятники» убеждены в исторической миссии интеллигенции. Техническая интеллигенция способна обеспечить обществу научно-технический прогресс, гуманитарная – духовно-нравственный. Лидия Чуковская записала в дневнике в 1965 г., в пору борьбы за пересмотр дела Бродского: «Интеллигенция, не утратившая бескорыстия и бесстрашия мысли.

Её мало во всём мире, но она всё-таки есть.

Она ничего не может переменить – в настоящем. Мир движется своими путями, двигаемыми не ею. Но всё плодотворное – от неё; эстафета культуры передаётся ею. Она постоянно разбита наголову – и всегда победительница» [8. Т. 2. С. 277]. Григорий Померанц двумя годами позже, в 1967-м, высказался ещё более категорично: «Там, где интеллигенция свободна, всем открыт доступ к свободе. Там, где интеллигенция в рабстве, все рабы. <...> Если не решена проблема интеллигенции, страна в целом останется во тьме. <...> Люди творческого умственного труда становятся избранным народом XX века» [9. С. 97].

Спустя годы философ вспоминал: «...в 60-е годы я считал своим долгом участвовать в массовых сдвигах. И вот я создал миф об интеллигенции, способной обновить общество, поставив в центр свою творческую жизнь, и от

этой жизни всё может и должно преобразиться. У меня нашлись бы шансы на успех, если бы советские учёные, инженеры, учителя были (если бы да кабы) духовно цельными, свободолобивыми, нравственно стойкими, критически мыслящими личностями <...>. Но чувствовать свободу как любовь и ответственность могут очень немногие» [10. С. 284]. Показательно, что, освободившись от мифологизации интеллигенции, философ сохранил свойственную ему в те годы категоричность нравственного императива.

Одним из механизмов создания и функционирования «нормы» является моделирование персонального поведения по готовым образцам, принятым сообществом в качестве значимых. Легитимной моделью мировосприятия и адекватных действий для «шестидесятников» выступала система ценностей русской и европейской интеллигенции. Она осознанно культивировалась в гуманитарной, творческой и научной среде и определяла характер самооценок и восприятия личности современников. Показательный пример находим в дневниках Твардовского. Читая опубликованные в «Иностранной литературе» за 1965 г. письма Томаса Манна, главный редактор «Нового мира» делает из них выписки наиболее значимых идей для собственного пользования. Одним из принципиальных суждений немецкого писателя кажется Твардовскому настойчивое требование противостоять любой форме идеологического или политического посягательства на свободу совести. Следом в дневнике появляется запись о своей решимости «звонить к Демичеву, проситься на приём, идти, говорить, убеждать, что "дело Синявского" приобретает наихудший оборот из тех, что можно было бы предположить в самом плохом случае. <...> Сразу при чтении этих писем подумал о том, какая нагрузка ещё эта ответственность сознательного человека, да ещё литератора, «представителя» за всё, что творится. Нет, не отмахнёшься, не отсидишься, не спасёшься – потом стыдно будет и страшно и «история» не поможет» [5. Т. 1. С. 421]. Очевидно, что стремление Твардовского вмешаться в ход постыдного, с его точки зрения, дела не рождено, но простимулировано «узнаванием» в позиции европейского писателя собственных воззрений на долг литератора.

«Образцовые биографии» в воспоминаниях «Мы жили в Москве» и дневниках Шварца представлены литературными портретами, выделенными авторами в отдельные разделы: у Орловой и Копелева – во вторую часть, у драматурга – в «Телефонную книгу». Образы современников отражают авторскую концепцию избранного характера и являются одним из способов самоидентификации авторов: подкрепляют их модель личностного поведения дополнительным авторитетом.

Соотношение профессиональных и личностных качеств – главная тема литературных портретов, созданных Шварцем. В современниках Шварц выделяет не родовые качества, обусловленные групповой идентичностью – интеллигент, писатель, а уникальные, дорогие непосредственно ему, создателю дневника. Нравственные качества личности составляют «суть существа», человеческое важнее профессионального. Эта позиция объясняет оценку коллег. К. Чуковский предстаёт в неожиданном ракурсе – желчный, недобрый, ревнивый к чужому успеху. Ю. Тынянов «удивительнее своих книг» [4. С. 193]. А некоторые фигуры, весьма заметные в литературном процессе, хорошо знакомые автору, упомянуты вскользь. Например, Алексей Герман, прочитав дневники, был обескуражен молчанием Шварца о его многолетней

дружбе с отцом, писателем Юрием Германом [1. Ч. 2]. Правда, несколько строк в «Телефонной книге» ему посвящены: «В первые годы после войны мы были ближе. Сейчас мне с ним всё более неловко. Одарён он необыкновенно. Определился и вошёл в силу рано. Сейчас постарел и потяжелел, тоже преждевременно. Но силы не потерял. Писать мог бы сильнее» [4. С. 305]. Для когда-то близкого друга это весьма скупая информация. Хотя фраза «мне с ним всё более неловко» довольно красноречива и позволяет оценить ту степень отчуждения, когда молчание о былой дружбе предпочтительнее разъяснений. Следовательно, автор не только конструировал образ персонажа, но и «фильтровал» воспоминания в соответствии с собственной творческой логикой.

Орлова и Копелев видят реализованный идеал в жизненной практике как знаменитых художников слова, учёных, так и рядовых членов сообщества – учителя-словесника, переводчика западноевропейской литературы. Масштаб личности измеряется ими не статусом в профессии или социуме, а гражданской и нравственной позицией. «Образцовая биография» предполагает высокий профессионализм, ответственность за судьбу страны, бескомпромиссность.

Центральная фигура воспоминаний – Генрих Бёлль. Он являет собой образец европейского интеллигента. Талант не имеет границ, интернационален, неэгоистичен, а значит, отзывчив к чужой беде. Готовность приложить все силы к освобождению советских коллег-нонконформистов, попавших под суд (И. Бродского, Н. Горбаневской и др.), – закономерная поведенческая практика европейского литератора. Орлова и Копелев убеждают читателей в духовном братстве интеллигенции, распространяющемся поверх государственных границ. Космополитизм, свойственный авторам, был весьма типичен для художественной и творческой интеллигенции 1960-х гг.

Талант соотечественников взращён традициями русской классической литературы. В портретах Корнея Чуковского и Анны Ахматовой выделено в качестве универсального свойства российского художника слова «противостояние, взаимодействие и противоборство писателя и среды» [3. С. 318]. Главная тема миниатюры о Чуковском – бескорыстная и самоотверженная помощь мэтра материально нуждающимся или несправедливо осуждённым коллегам. Так же когда-то ему, начинающему критику, помогали Илья Репин, Леонид Андреев. Максим Горький защищал его сказки от нападок Надежды Крупской. Взаимопомощь – «традиция русской литературной жизни» [3. С. 317]. Сделав этот вывод, писатели ответили и на вопрос своей эпохи: как вести себя советской интеллигенции в условиях духовной несвободы. Так же, как великим предшественникам: невзирая на давление власти, прокладывая свой путь в профессии, оставаться собой, «освободить психику от всяких следов раболепства» [3. С. 325] и поддерживать гонимых.

Восприятие личности Ахматовой авторами совпадает с позицией Лидии Чуковской, автора знаменитых в самиздате «Записок об Анне Ахматовой». Для них, как и для Чуковской, Ахматова – персонифицированное воплощение культуры, спасающей человека от давления социальной истории. Культура, став главным содержанием жизни, определяет вневременное её измерение: «Анна вся Руси, венчанная двойным венчанием – терновым венцом и звёздной короной поэзии <...>...Она бессмертна, как бессмертно русское слово» [3. С. 301–302]. И вновь авторы акцентируют дорогие для себя идеи –



о преемственности Ахматовой традиций русской классической литературы и как следствие действенном служении справедливости и правде.

Принадлежность к русской культуре – сквозная тема и других литературных портретов: писательницы Лидии Гинзбург, физика Андрея Сахарова, правозащитника Петра Григоренко, переводчика Константина Богатырёва, редактора Лены Зониной, математика Сергея Маслова, учительницы литературы из небольшого городка Людмилы Магон. Русский интеллигент – почётное звание, убеждены авторы. Оно определяет не профессию, а судьбу и миссию: историческую – служить социальному прогрессу, общественную – быть просветителем, раскрепощать сознание и пробуждать души современников, нравственную – жертвовать собой ради высоких идеалов. Эти духовные основания русской культуры представлены как незыблемые, универсальные, противостоящие всякой идеологической фальши, не побеждённые советскими догмами.

Не стоит забывать, что констатация поведенческого канона, сформированного русской классической традицией, звучит особенно настойчиво по мере ожесточения идеологической и политической конфронтации власти и неконформистов. Вторая половина 1960-х – 1970-е гг. были восприняты «шестидесятниками» как возрождение сталинизма. В этих условиях необходимо было укрепить дух колеблющихся, напомнив им о подлинных образцах интеллигентского поведения, и продемонстрировать власти неколебимость своих принципов.

Противопоставление «советского», т.е. «лживого» и «русского» – «подлинного» является частотным элементом в самоидентификации «шестидесятников». Солженицын в книге «Бодался телёнок с дубом», размышляя о причинах отчуждения с Твардовским пишет: «Расхождение наше было расхождением литературы русской и литературы советской, а вовсе не личное» [11. С. 143], «Советский редактор и русский прозаик, мы не могли дольше прилегать локтями, потому что круто и необратимо разбежались наши литературы» [11. С. 176].

Андрей Вознесенский посвятил этой теме стихотворение «Я обвиняюсь» (1967 г.):

Вознесенский, агент ЦРУ,  
притаившийся громкою сапой,  
я преступную связь признаю –  
с Тухачевским, агентом гестапо.  
Подхватив эстафету времен,  
я на явку ходил к Мейерхольду,  
вёл меня по сибирскому холоду  
Заболоцкий, японский шпион.  
И сто тысяч агентов моих,  
раскупив «Ахиллесово сердце»<sup>1</sup>,  
завербованы в единоверцы.  
Есть конструктор ракет среди них.  
  
И от их чернокнижных систем  
ко мне тянутся тёмные нити.  
Признаю, гражданин обвинитель.  
Ну а ваша преемственность – с кем?

Е. Шварц в дневниках в той же системе координат осмысливает фигуру Дрейдена: «Он был человеком советским. Насквозь советским. От малых лет.

<sup>1</sup> «Ахиллесово сердце» – сборник А. Вознесенского. 1966 г.

И, зная, что ни в чём неповинен, и будучи реабилитирован, он тем не менее как бы чувствовал себя виноватым. В чём? А кто его знает. В своём несчастье? Весьма возможно. Чувствовал себя запачканным. Чудилось ему, что всё то, что грянуло над ним, оставило след, как бы изуродовало его. Он не хочет показываться в дни премьер <...>. Не возвращается в среду <...>. Но постепенно это начинает рассасываться, и Сима Дрейден делается увереннее. Прощает себе то, что над ним стряслось» [4. С. 311]. Горькая ирония Шварца выявляет всю меру духовной несвободы героя, робкого, психологически зависимого от системы, искалечившей его жизнь. Писатель не декларирует своей «инаковости» по отношению к другу: произошедшее с ним могло случиться с каждым, однако аксиология автора, как явствует из текста, сформирована традициями критического мировосприятия, органичного русской культуре.

Осмысление собственного жизненного опыта в контексте судеб великих предшественников – литераторов века XIX – давало «шестидесятникам» иной масштаб восприятия повседневно-будничных злоключений: шаткого положения в социуме, всё более очевидной «непроходимости» рукописей в официальных изданиях, угрозы ареста, обострявшейся по мере активизации протестных акций. Отыскав точку опоры не только в себе, но и в культурной традиции, они ощущали осмысленность общего, неконформистского, и личного существования.

Итак, сопоставление автобиографической прозы «шестидесятников» – воспоминаний, дневников – позволяет выявить общую мировоззренческую парадигму, реализованную в универсальных поведенческих моделях. Осмысливая свою эпоху как «рубежную» в социокультурном плане, литераторы избирали адекватные формы творческого и повседневного существования. Аксиология и старшего поколения «шестидесятников», к которому принадлежали Шварц, Твардовский, Чуковская, и их молодых современников базировалась на общечеловеческих нравственных ценностях, в поведенческой практике это реализовывалось в социально активном действии и гражданской мобильности. «Шестидесятники» продемонстрировали творческую продуктивность и нравственную наполненность избранных жизненных моделей.

### Литература

1. *Герман*, сын Германа: в 5 ч. : док. фильм / реж. Н. Урвачева. ГТРК Культура, SATRip, 2005.
2. *Лакиин В.* Солженицын, Твардовский и «Новый мир» // Солженицын и колесо истории. М.: Изд. дом «Вече», «А3» (Знатнов). 2008. С. 124–188.
3. *Орлова Р.* Мы жили в Москве: 1956–1980 / Р. Орлова, Л. Копелев. М.: Книга, 1990. 447 с.
4. *Шварц Е.* Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя. М.: АСТ, 2013. 512 с.
5. *Твардовский А.* Новомирский дневник: в 2 т. М.: ПРОЗАИК, 2009. Т. 1: 1961–1966. 656 с., Т. 2: 1967–1970. 638 с.
6. *Орлов Ю.* Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. М.: Захаров. 386 с.
7. *Чуковская Л.* Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» // Чуковская Л. Сочинения: в 2 т. М.: Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 149–154.
8. *Чуковская Л.* Иосиф Бродский // Чуковская Л. Сочинения: в 2 т. М.: Гудьял-Пресс, 2000. Т. 2. С. 268–306.
9. *Померанц Г.* Человек ниоткуда // Самиздат века / сост. А.И. Стреляный и др. М.: Полифакт, 1999. С. 95–114.
10. *Померанц Г.* Записки гадкого утёнка. М.: Московский рабочий. 1998. 339 с.
11. *Солженицын А.* Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-PRESS, 1975. 629 с.